

ПЕТЕРБУРГ 1906 (Детство)

Петербург-Ленинград — город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать — нельзя полюбить Петербург. Петропавловская крепость — символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу — символ плененной красоты. Петербург и Ленинград — это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькал Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия. Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун — у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариусовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, — «Щелкунчик», и больше всего меня поразило снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, — это место и было моим. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое», «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают

снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, — он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка — «Берчика». Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций — сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал — наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены — время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. А вот песенка, которую мы пели: «Травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с весною В сени к нам летит. С нею солнце краше И весна милей... Прощебечь с дороги Нам привет скорей! Дам тебе я зерен; А ты песню спой, Что из стран далеких Принесла с собой.» Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то приказывает «прочь с дороги» — «прощебесь с дороги».

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь зал Филармонии), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги — этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством... По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь — произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка.

Мою няню звали Катеринушка. Единственное, что сохранилось от Катеринушки, — фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Помню, что жила она на Тарасовом в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки до щиколоток, появлявшиеся передо мной, и удивлялся. Катеринушка была как родная и для нашей семьи и для семьи моей бабушки по матери.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и в сухую погоду.

Погода постоянно обращена к человеку. Она о нем помнит, создает ему настроение. Петербург кажется гигантской театральной сценой, «постановочным пространством» для самых больших исторических трагедий, а иногда и комедийных импровизаций. Все это я пишу, осмысливая свои детские впечатления, в которых перемены погоды занимают особое место, ибо родители бдительно следят за тем, как я одеваюсь, выходя на улицу. То нужен башлык, и башлык можно повязать по-разному — стоячком или просто за спину, а то и обмотать вокруг шапки и шеи. Иногда галоши надо сменить на ботинки, надеть гамашки или теплые чулочки. Все зависит от погоды. Петербург живет погодой больше, чем любой другой город России. Выходишь в одну погоду, а возвращаешься в другую.

Д.С.Лихачев «Воспоминания»

КУОККАЛА

Весной мы рано уезжали на дачу. Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей (теперь Репино), где жила петербургская интеллигенция — преимущественно артистическая. Самые счастливые воспоминания детства связаны у меня с пляжем в Куоккале. Помню дни, с утра проведенные на пляже у своей будки. В будке хранились шезлонги, купальные костюмы, игрушки. Я больше всего любил игрушечные яхты с килем и парусом.

В 12 часов на пляже мы пили молоко, принесенное утром в бутылке и закопанное в прохладный сырой песок позади будки. Счастьем было наблюдать артиллерийские учения на фортах. Ближе всего в Куоккале был форт «Тотлебен. Позади будок мы с братом строили окопы и «сражались» друг с другом в обществе товарищей, кидая шишки, намачивая их водой или «приготовляя» их к киданию в сыром песке: чтобы они сложились и летели дальше.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность — к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку... Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой «человечек»: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище — это котел. Большая голова — труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) — это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам... (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста — изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями).

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские Пенаты. Около Пенат построил себе дачу К. И. Чуковский. На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин, приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин и многие другие. < >.

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, — в час. < >. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. < >. В дни рождения и именин детей обычно иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал не только фейерверки, но и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. < >. Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки — в пользу туберкулезных, во время первой мировой войны — в пользу раненых). < >. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. < >. Почти все были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости.

Общественным местом была церковь, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать.

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач. Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, — точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Еще чаще было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба. Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется — талантливых озорников.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» — беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! Цото бендзе — и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали. < >.

Культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. Она носила разговорный характер. Мнение каждого вырабатывалось в беседах с друзьями, иногда в спорах, которые не вели к вражде, но создавали интеллектуальную индивидуальность каждого. К прогулкам готовились за неделю. Обсуждались наряды. Прогулочный костюм должен был быть скромным и вместе с тем красивым. Обувь! — это был главный вопрос для дам. Готовились бутерброды, закуски, напитки. Надо было не только поесть семье, но и угостить знакомых. У садовницы-финки, к которой я зашел в 1985 г. в Комарове, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы жили, кажется, в 1915 году. «Юлии» она не вспомнила, а о пансионатах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала: «Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено — даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые, и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не продается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые. Финны русских господ любили... Русские вежливые были, приветливые». Когда в первую финскую войну финны отсюда уходили, Александра Яновна спряталась — хотела с русскими остаться. Между двумя финскими войнами ее вывезли куда-то — может быть, в Вологду. Там она замуж вышла. Первую ее дачу отобрали пожарные, но дали другую, и она

разводила цветы, ягоды, огурцы. С того и жила. К ней мы постоянно заходили. И с дочерью Верой заходили. Я был рад поговорить с ней о Куоккале. Мои впечатления совпали с ее. Значит, я не преувеличивал.

Д.С.Лихачев «Воспоминания»

ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.С.ПУШКИНА

Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании моих научных интересов — конечно, университетский.

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а — обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей «перестройки». Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин — известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было — звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась диспутом.

Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку — кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» — учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках.

Ленинградский университет в 20-годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII — самом начале XIX века, другую —

о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе было тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч — начиная от Вольфила на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где, случалось, выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей — особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств.

Из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов. Прежде всего занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, анализируя их стиль и содержание.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе, во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе — особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время — это не только расцвет литературы, но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых — литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце

в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда — как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой — писать для детей по русскому языку).

Д.С.Лихачев «Воспоминания»

СОЛОВКИ

«Я не описываю подробно первые дни в Кеми, на Поповом острове, в тринадцатой роте на Соловках. Дело в том, что как только я получил возможность работать на канцелярской работе, я стал вести записи и прятал их среди канцелярских бумаг, а затем отправил с родителями, приезжавшими ко мне на свидание весной 1929 г. Отмечу только, что при высадке из вагона конвоир разбил мне сапогом в кровь лицо, что над нами измывались как только могли. Кричали нам: «Здесь власть не советская, — здесь власть соловецкая».

«Из разговоров на Соловках в 1929 г. я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но и неизвестны.

Что же было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был, — между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка при входе и выходе у 13-й роты — рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход разрешен каждому — только с «нарядами» — листами на работу»

«В 1928 г., люди знали, что такое тюрьма, этап, лагерь, и знали, как снарядить высланных, — что дать им в дорогу. Надо было, чтобы поклажа была легкой и чтобы там было самое необходимое. Знали, например, и такую деталь: лежать придется на жестком, а при этом больнее всего тазу. Поэтому шили маленькие матрасики, набивая их волосом, — как самым легким и не сваливающимся в употреблении. Мне дали такой матрасик — не больше подушки, а укрываться — легчайшее детское пуховое одеяло, почти ничего не весившее, но укрыть которым я мог только либо ноги, либо плечи. Я накрывался им от угла к углу: уголок на ноги и уголок на плечи. Но клал на себя еще что-либо из одежды: зимой — полушубок. Закрывался с головой, чтобы уйти в свой мир воспоминаний о доме, об университете, о Петербурге»

«Весной 1929 г. к нам на Соловки приехал Горький. Пробыл он у нас дня три (точнее, я не помню — все это легко установить по его собранию сочинений).

От соловецких беглецов (бежали из отделений Соллагеря на материке и пешком в Финляндию, и на кораблях, возивших лес) на Западе распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках.

Горький должен был успокоить общественное мнение. И успокоил... Покупки леса возобновились... Кто потом говорил, что своим враньем он хотел вымолить облегчение участи заключенных.

Из Кремля каждую ночь в соловецкие леса уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары.

«Поздно осенью 1929 г. ко мне еще раз приехали на свидание (разreshалось два свидания в год) родители. Мы жили в комнате какого-то вольнонаемного охранника. Я жил у родителей, аресты шли. Под конец их пребывания ко мне пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили арестовывать. Я сказал родителям, что меня

вызывают на срочную работу, и ушел: первая мысль была — пусть арестовывают не при родителях!

Выйдя на двор, я пошел на дровяной двор и зачихнул между поленницами. Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел там, пока не повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С этой страшной ночи во мне произошел переворот. Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как расстрел и в этот раз производился для острастки, то как я потом узнал: было расстреляно какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек, вместе с последовавшим вскоре. Ясно, что вместо меня был «взят» кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы тому, которого взяли за меня, не было стыдно!»

Д.С.Лихачев «Воспоминания»

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Русская культура «серебряного века» рождалась в разговорах, беседах — откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли. В беседах этих, в которых по каким-то особым законам духа должно было быть не меньше трех собеседников, рождались новые мысли, новые «откровения». Беседуя, человек формулировал, оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых мыслей. Полная свобода в этих разговорах была условием их плодотворности. Отнюдь не случайно с 1928 г., с приходом к власти Сталина и его диктатуры над умами и душами, начались гонения именно на кружки интеллигенции, на их встречи и на их беседы.

В своих воспоминаниях мне хотелось бы рассказать о том, чем жила думающая русская молодежь в эти годы, конечно, через узкую «щель» моего личного опыта.

Одна из целей моих воспоминаний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 гг. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылки надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года «красного террора», а затем прибой все время нарастал до самой смерти Сталина, и, кажется, новая волна в 1936–1937 гг. была только «девятым валом»... Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице, мы ночами в 1918–1919 гг. могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в стороне Петропавловской крепости.

Не Сталин начал «красный террор». Он, придя к власти, только резко увеличил его, до невероятных размеров

В годах 1936-м и 1937-м начались аресты видных деятелей всевластной партии, и это, как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х годов тысячами расстреливали офицеров, «буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским и белорусским крестьянством — все казалось «естественным». Но затем началось «самопожирание власти», оставившее в стране лишь самое серое и безличное, — то, что пряталось, или то, что приспособлялось.

Пока же в стране оставались мыслящие люди — люди, обладавшие своей индивидуальностью, умственная жизнь в ней не прекращалась — ни в тюрьмах и лагерях, ни на воле. Чуть-чуть захватив в своей молодости людей «серебряного века» русской культуры, я почувствовал их силу, мужество и способность сопротивляться всем процессам разложения в обществе. Русская интеллигенция никогда не была «гнилой». Подвергнувшись «гниению», только ее часть начала участвовать в идеологических кампаниях, проработках, борьбе за «чистоту линии», и тем самым перестала быть интеллигенцией. Эта часть была мала, основная же уже была истреблена в войне 1914–1917 гг., в революцию, в первые же годы террора.

Молодость всегда вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и у других моих товарищей по школе, университету и кружкам нечто, что вспоминать

больно, что жалит мою память и что было самым тяжелым в мои молодые годы. Это разрушение России и русской церкви, происходившее на наших глазах с убийственной жестокостью и не оставлявшее никаких надежд на возрождение.

Многие убеждены, что любить Родину — это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви — любви-жалости. Неудачи русской армии на фронтах первой мировой войны, особенно в 1915 г., ранили мое мальчишеское сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти Россию. Обе последующие революции волновали меня главным образом с точки зрения положения нашей армии. Известия с «театра военных действий» становились все тревожнее и тревожнее. Горю моему не было пределов.

Почти одновременно с Октябрьским переворотом начались гонения на церковь. Эти гонения были настолько невыносимы для любого русского, что многие неверующие начали посещать церковь, психологически отделяясь от гонителей. Вот недокументированные и, возможно, неточные данные из одной книги того времени: «По неполным данным (не учтены Приволжье, Прикамье и ряд других мест), только за 8 месяцев (с июня 1918 по январь 1919 г.)... были убиты: 1 митрополит, 18 архиереев, 102 священника, 154 дьякона и 94 монаха и монахинь. Закрыто 94 церкви и 26 монастырей, осквернено 14 храмов и 9 часовен; секвестрованы земля и имущество у 718 причтов и 15 монастырей. Подверглись тюремному заключению: 4 епископа, 198 священников, 8 архимандритов и 5 игумений. Запрещено 18 крестных ходов, разогнана 41 церковная процессия, нарушены церковные богослужения непристойностью в 22 городах и 96 селах. Одновременно происходило осквернение и уничтожение мощей и реквизиция церковной утвари». Это только за первые месяцы советской власти.

Чем шире развивались гонения на церковь и чем многочисленнее становились расстрелы на «Гороховой два», в Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне и т. д., тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Родине меньше всего походила на гордость Родиной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен, — мы плакали и молились.

И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подают «за упокой»: всех не упомнишь, когда пишешь их, — записываешь наиболее дорогие имена, и такие находились для меня именно в древней Руси.

Д.С.Лихачев «Воспоминания»

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

В 1941 г. мы сняли дачу в Вырице. Мы благополучно прожили всего девять дней... После объявления войны ...мы жили на Вырице до 18 июля.

Что было в течение первых дней войны, я не помню < >. Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. < >. Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки аэростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского Дома мы несли круглосуточное дежурство.

Начались бомбардировки. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близок, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги слышались только тогда, когда бомбы уже падали на город.

Помню — я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». — «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения».

Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. < > Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков — молодых и талантливых. Но зоологи сохранились: многие умели охотиться. Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в Институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился; уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшемуся директору!

Университетскую поликлинику я помню хорошо: я получал там справки на белый хлеб. Это нас поддерживало. В сентябре у меня начались язвенные боли, но они быстро прошли. Окна в поликлинике были уже заложены, и врачи принимали в ней при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. В академической столовой около Музея антропологии и этнографии АН кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили... лизать тарелки. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали. Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне и почти закричал на меня со страшным раздражением:

«Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба — я не дойду до дому!». Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру и принес плитку глюкозы с порошком шиповника. Я приходил к В. Л. Комаровичу и раньше, помогал ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены к городу.

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирали. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один.

В декабре появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни»). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает!

Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской. Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя побольше всего теплого. Стекла были прикрыты фанерами, заклеены крест-накрест бинтами. Ложились в постель часов в шесть вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок. Но спать было очень трудно. Холод пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Мысли были при этом самые глупые: вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод! Вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой!

Утром растапливали буржуйку. Топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной Думы. Утром мы молились, дети тоже. С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева, учили стихи Ахматовой. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем всего было поровну. Я толчок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смиренно и следили за тем, как готовилась «еда». Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну.

Все люди ходили грязные, но мы умывались, тратили на это стакана два воды и воду не выливали — мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому

около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны по середине мостовой.

Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами, мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренне, «от души» мыслили, проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению, не поддаваясь суете и тщеславию.

Д.С.Лихачев «Воспоминания»

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА

В бурные 80-е – 90-е политика всё-таки втягивала Лихачёва в свою воронку. К нему тогда были обращены все взоры: «Изреките же, наконец, истину! В чём правда?!» Все, наверное, даже знали, чего ждут от него: «Скажите, наконец, самую страшную правду о нашей стране!» Тогда почему-то все жаждали именно этого. И он сказал. Но совсем не то, чего от него, «прогрессивного академика», «вождя интеллигенции», все ждали.

И в 1980 году, когда были так сильны антипатии к СССР (и неотличимой от него в те годы России), в журнале «Новый мир» появляется статья Д. Лихачёва «Заметки о русском». Это был буквально панегирик России и всему русскому... столь несовременный, с точки зрения передовой общественности. Опять рискует собой, своим именем ради цели, которую видит только он. Как говорил о себе Лихачёв: «Я не типичный академик. Не хватает чванства». Скорее, в нём преобладали горячность и азарт, невозможность терпеть что-то возмущающее его. А возмущал его поток негатива в отношении России, к её истории, литературе, изучению которой он отдал жизнь!

Но зато неожиданно позиция его имела успех на Западе. Имя Лихачёва как знатока России поднялось ещё выше. Известный славист Жорж Нива, давно и тесно связанный с Россией и несколько раз пострадавший за эту связь, восторженно написал после встречи на конференции в Японии: «Дмитрий Сергеевич удивил глубокой внутренней гармонией своего образа, личности, своих идей. Слушая его, все поверили, что ещё есть таинственный «рыцарский орден», который спасёт Россию, красоту и мир: русская интеллигенция... Любимая идея Лихачёва – экология культуры – сводится к этому: как исцелить Россию. **Поистине он был новый Карамзин**».

В итоге несвоевременный патриот, рискующий у нас своим добрым именем, стал во всём мире самым популярным из всех представителем нашей страны – все университеты Европы наперебой приглашали его. Лихачёв опять выстоял.

И вдруг снова подверг себя риску, в который раз! Были изданы его «Письма о добром и прекрасном», перекликающиеся с «Заметками о русском», сорок шесть писем Лихачёва к молодёжи на общую тему: «Как стать счастливым?». Вскоре на встрече с интеллигенцией в Смольном Горбачёв, лидер перестройки, сказав речь, вдруг пошёл через зал и остановился перед Лихачёвым, скромно сидевшим где-то в последних рядах, и обозначая «новую эру» отношений власти и народа, персонально поздоровался с ним.

Фонд был создан в 1986 году. Разместился он в помпезном особняке Сергея Третьякова на Гоголевском бульваре, дом Времена, конечно, были удивительные. Чтобы сейчас, в эпоху развитого капитализма, был отдан учреждению культуры старинный особняк – представить невозможно... Опорой Дмитрия Сергеевича в Фонде культуры были приглашённые им академики, профессора, музейщики, работники библиотек и архивов, университетские преподаватели, художники, артисты, режиссёры, представители церкви, деловые люди.

Поначалу Дмитрий Сергеевич очень гордился этим проектом и даже приезжал в фонд с семьёй – Зинаидой Александровной, Людмилой. Особенно он любил слушать там концерты старинной музыки. Тогда лицо его становилось почти счастливым. Казалось, что всё, о чём он мечтал, получилось!

Д.С.Лихачев «Воспоминания»